

то, что не дают никому спуску, слынут в публике за разбойников, крикнул с противоположной стороны стола, обращаясь к Семенову: «Ты, брат Семенов сегодня словно Христос на горе Голгофе». Слова эти тотчас были всеми поняты, я хохотал, разумеется, громче всех, аплодировал и посылал летучие поцелуи Пушкину, который кричал мне: «Вы, Николай Иванович, не сердитесь?..» Я отвечал ему громко: «Я был бы непростительно глуп, ежели бы сердился за эту милую шутку, которая нашему брату журналисту вовсе и не обидна, потому что нам то и дело что приходится разбойничать по общим понятиям публики, то есть лаяться, острить, отбиваться, нападать, даже хищничать. Я понимаю значение журналиста и никогда эпитетом разбойника не обижусь». Я старался обо всем этом говорить как можно больше, чтоб успокоить Булгарина, который пришел в совершенное нравственное расстройство и задыхался от бешенства».

С течением времени многим из посетителей четвергов порядочно надоела их обстановка*...

В. Бурнашев

ПЯТНИЦЫ А.Ф. ВОЕЙКОВА**

Вечером, особенно по пятницам, в ожидании гостей, комнаты были с некоторым тщанием прибраны и сильно освещены многими кенкетами, разумеется масляными, потому что в то время, лет за 35—40 перед

* О четвергах Греча см. еще в «Русском Вестнике», 1875, № 8, с. 557. Для характеристики взаимоотношений Н.И. Греча с рядом упомянутых здесь лиц см. его «Записки о моей жизни». П., 1886, особенно гл. XII.

** «Русский Вестник», 1871, № 9. Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания. Петербургский старожил *В. Бурнашев*. Окончание статьи в ноябрьской книжке.

сим, и понятия не было о керосине, вошедшем у нас в употребление не больше как каких-нибудь 15, много 20 лет. Кроме кенкетов, горели в канделябрах, расставленных по разным столам, калетовские свечи, начавшие заменять восковые и сальные. Обоняние по пятницам здесь также не поражалось всеми теми неприятными запахами, какими атмосфера этих самых комнат была наполнена по утрам. По вечерам, и особенно по пятничным вечерам, калмыкообразный казачок, примазанный маслом и поопрятнее одетый, разносил довольно часто по комнатам дымящуюся плиту, на которую то и дело что подливал лоделаванд, правда, довольно второстепенного качества; а на всех кафельных печах, белых с синими узорами, расставлены были так называемые «монашенки», курительные свечи на грошах. Иногда же воейковская экономка распорядилась ставить эти курительные свечи на стаканы с водой, покрытые листками бумаги, и в воду проваливались обгоревшие углевые свечки, утратившие, конечно, свой аромат, но сохранявшие, однако, свою пирамидальную форму, почему снова могли быть продаваемы с некоторою уступкой неопытным покупателям. Эти ароматы смешивались обыкновенно еще и с табачным запахом, потому что многие из гостей курили или турецкий, или вакштаф, или и больше всего входивший тогда «жуков», сделавшийся особенно модным после моей статьи в «Северной Пчеле» с анекдотичною биографией табачного фабриканта Василия Григорьевича Жукова, фабрику которого на Фонтанке между Чернышовым и Семеновским мостами посетил, вследствие этой статьи, великий князь Михаил Павлович, большой табакокуритель, а за ним и весь петербургский beau monde. Впрочем, некоторые юноши, посещавшие в те времена гостиную А.Ф. Воейкова по пятницам, наполненную табачным дымом, невзи-

рая на частое отворяние форточек, покуривали тогда соломенные пахитосы, так как о папиросах, явившихся у нас в сороковых годах, еще никто в Петербурге и понятия не имел.

В парадном кабинете Воейкова было на стене несколько портретов как царей и цариц, так различных военных, гражданских и литературных знаменитостей, между которыми, то есть особенно последними, виднее всех были портреты Карамзина, Жуковского и Пушкина. Последний, казалось, был тут помещен позднее всех и отличался особенною свежестью...

В числе всех этих портретов несколько в стороне был портрет самого хозяина, А.Ф. Воейкова, исполненный довольно искусно масляными красками; но тут он изображен как бы в номере дома сумасшедших, за решеткой в полосатом халате и меховой шапке. Наверху надпись: «Дом сумасшедших, отд. III № 27». Перед ним лист бумаги со следующими четырьмя стихами:

Вот Воейков, что бранился,
Век с Булгариным возился,
Честь свою тем запятнал
И в безумный дом попал.

Когда кто-нибудь из новых посетителей Воейкова останавливался перед этим портретом, сатириобразный Александр Федорович, заметив такое внимание нового своего гостя, говорил ему, как это случилось и со мною:

— А другие мои стихи на старикашку Воейкова вы, батенька, знаете?

— Нет-с, не знаю, Александр Федорович, — сказал я.

И тогда Воейков прочитал мне наизусть своего «Дома сумасшедших», столь известного многим, но тогда мне, однако, знакомого лишь понаслышке:

Тот Воейков, что Делиля
Столь безбожно искажил
И терзать хотел Эмиля
И Виргилио грозил, —
Должен быть, как сумасшедший,
Вовсе заперт в желтый дом,
Темя все обрить поспешней
И тереть почаще льдом.

Когда Воейков кончил чтение своих стихов, за которые я его благодарил, в комнату вошла личность, поразившая меня своим костюмом и вообще своею наружностью. То был плотный, дебелый, коренастый русский бородач, стриженный в скобку, с лицом кротким и с тихою улыбкой на лице, одетый в такой кафтан зеленого цвета, который назывался «жалованным», весь в золотых галунах по груди, рукавам, полам и подолу, с поясом из золотых кистей и с такими же кистями на всех застежках. При виде этого золотого человека Воейков очень обрадовался и вскричал: «А! русский *Борис!* Федор Никифорович, как я рад тебя видеть!» И он обнимал и целовал почтенного русского бородача. А бородач, в свою очередь, благодарил Александра Федоровича за полученный им от Российской Академии этот почетный золотой кафтан и пожалованную ему серебряную медаль на Анненской ленте. То и другое, по-видимому, очень радовало русского человека, который оказался нашим поэтом-самоучкой *Федором Никифоровичем Слепушкиным* (род. в Ярославской губ. в 1783, а умер в Рыбацком селе близ Петербурга во время второй холеры в 1848 году). В те времена стихотворения Слепушкина многим нравились и породили ему подражателей в крестьянах Суханове и Алипанове, о которых теперь едва ли много кто и помнит-то.

— Я вот только сегодня, — говорил Слепушкин, — приехал из Рыбацкого и тотчас поспешил к моим по-

кровителям: был у Павла Петровича Свинына и у Бориса Михайловича Федорова да в обязанность себе вменил и к вам, Александр Федорович, явиться, и не с пустыми руками.

— Прекрасно, прекрасно, дорогой кум, — восклицал Воейков. — А что, как поживает мой крестник?

— Отлично-с: все маткину титьку сосет, шельмец такой, — отвечал самодовольно Слепушкин и при этом представил Воейкову свое новое поэтическое детище.

Воейков тотчас вскинул очки на лоб и, взяв лист, весь исписанный, поданный ему Слепушкиным, стал читать:

РАССКАЗ СБИТЕНЩИКА

Извозчик, саечник, столяр,
Обручник, плотник и маляр,
Все господа мастеровые
За чай — и локти по столу,
Кричат: «Поддай-ка ты «Пцолу»!

— Ха, ха, ха! — хохотал Воейков. — Пцолу! Пцолу!

Затем он прочел всю пиесу, стихов в сотню, и закончил повторением раза два особенно понравившихся ему стихов:

«Романы — люди, а не книги», —
Толкует пожилой бочар:
«Всех лучше книга — «Птица Жар»!

— Умно, остро, типично, вылитая природа, прелесть! — восклицал Воейков и, подозревая казачка, велел подать себе свой портфель, куда он погрузил это свое новое благоприобретение, говоря: — Завтра же отвезу в типографию для следующего моего номера. Спасибо,

спасибо, Федор Никифорович, спасибо. «А нам стате-
ечку, дай Бог здоровья вам», — как изволит всегда вы-
ражаться насчет даровых статеек Николай Иванович
Греч.

Воейкову, с легкой руки Слепушкина, счастливи-
лось в этот вечер, потому что он получил с дюжину
различных даровых статей и статеек — оригинальных
и переводных, стихотворных и прозаических. Впро-
чем, ведь это не в первый раз, потому что у него уж так
было заведено, что почти никто из пишущей братии не
пил его чая со сливками, или лимоном, или ромом, или
красным вином и не ел его булочных печений, калачей,
саек и ужиных блюд совершенно даром: все что-ни-
будь да давали, хоть омоним, шараду, энигму, лого-
гриф или тому подобное. К тому же Воейков имел по-
рядочные связи и знакомства, посредством которых
очень многим юношам доставлял служебную карьеру
более или менее порядочную, а эти юноши отвечали
ему массой своих статеек, напечатание которых с их
именем, по их мнению, возносило их прямо на Парнас и
на Геликон (тогда так выражались все журналы и все
журналисты, кроме Полевого и Сенковского, которые
первые стали осмеивать эту страсть к мифологии). Со-
мнительно, чтобы начальники этих юношей, стремив-
шихся на Геликон и ленившихся вовремя посещать де-
партаменты и канцелярии, были очень благодарны
Александру Федоровичу за эти его рекомендации
вдохновенных канцеляристов. К числу таких юношей-
дарителей принадлежал один купеческий сынок, владе-
лец каменного дома в три этажа в Караванной, кото-
рый не только не получал гонорария, но еще за напе-
чатание своих переводных повестей с французского и
с английского и своих оригинальных стишков при-
кладывал в пользу редактора разные подарки, — вро-
де ящика бордоского чернослива, вестфальского око-

рока, фунта рязановских конфет, бурака зернистой икры, пуда сахара в головах и пр. и пр., благо у него была фруктово-колониальная лавка в Круглом рынке. Затем и чествовать любил же Воейков своего щедрого сотрудника, сделавшегося у него чем-то вроде его домашнего секретаря, и который в этот вечер, помнится, доставил Александру Федоровичу целую кипу прозы и стихов, причем, однако, Воейков сказал белокурому, бледнолицему, альбиносообразному юноше:

— Только, любезнейший, чур не щедриться много для Пьянчужкина, сиречь для Бестужева-Рюмина.

— Я ему-с, Александр Федорович, — говорил, пожимаясь и конфузясь, юноша, — я-с ему посылаю самые мои что ни есть оборыши и всегда с графинчиком коньячка-с.

Между тем обычные пятничные посетители начали появляться один за другим, и все с какими-нибудь литературными дарами, более или менее приятными. В числе таких посетителей были некоторые мне знакомые по вечерам Греча, по сходкам в редакции «Северного Меркурия», по книжным магазинам, где я с ними встречался, но много было и таких, которых я видел первый раз в жизни. С иными из последних Воейков знакомил меня, с другими же не находил нужным знакомить; но нельзя было мне не заметить, что эти господа перешептывались с хозяином дома и что предметом их перешептывания тогда был я, как новый пятничный посетитель.

Большой диван в гостиной был занят несколькими лицами, другие сидели в креслах вокруг стола, уставленного чашками и стаканами с чаем; многие сидели на стульях около небольших столиков и также упражнялись в чаепитии, которое иным приходилось так по вкусу, что эти господа выпивали, сколько я мог заметить, по полдюжине и более стаканов, уничтожая при

этом массу сухарей, булок, саяк и калачей, словно личности, не обедавшие суток двое. К числу таких принадлежал мой знакомец поэт Александр Николаевич Глебов, имевший привычку беседовать с вами не иначе, как держа вас за пуговицу фрака или сюртука, делая какие-то дикие конвульсивные гримасы. Сам Александр Федорович сидел обыкновенно в вольтеровском кресле, крытом алым полинялым сафьяном, причем в своем огромном черном парике, грызя набалдашник костыля или чеша ногтями язык, имел вид какого-то асмодея, бросавшего через стекла золотых очков взгляды направо и налево подходившим к нему гостям, с которыми здоровался преимущественно восклицаниями: «С наслаждением прочел я статью вашу в «Альционе» барона Егора Федоровича (т. е. Розена). Прелесть, прелесть! Божественно!», или: «Лисенков* обещал мне приобрести 500 экземпляров вашей замечательной брошюры против «Московского Телеграфа», или: «Молю богов о ниспослании на вас всех даров Аполлона», или даже: «Ты гневаешься, Зевс, значит ты не прав!» или: «Ай! моська, знать она сильна, что лает на слона! — сказал бы кто-нибудь, а наша моська вышла сущий лев. Bravo! bravo!», и т. д. и т. д., все в разных формах, но почти все с той же монотонною завывающею интонацией, ему свойственной. Для весьма немногих, как например, для высокого-превысокого седого генерала в инженерном морском мундире, историографа флота Берха, Воейков вставал и выходил до половины комнаты. Капитана гвардии и старшего адъютанта гвардейского корпуса Вильгельма Ивановича Карлгофа Воейков принимал сидя, восклицая то: «Помилуй Бог, как хороша ваша последняя повесть в «Невском Альманахе», или: «Не грешно ли

* [Книгопродавец того времени, сильно тогда торговавший в Б. Садовой, в доме пажеского корпуса.]

вам было бросить ваши прелестные стихи в помойную яму «Северного Меркурия», или: «В ту пятницу вы нас отсутствием своим в печаль и грусть повергли», и пр. и пр. Но вместе с производством г. Карлгофа в полковники и в особенности после того, как он женился на богатой тамбовской девице Елизавете Алексеевне Ошаниной и стал жить по-барски, Воейков выбежал, ковыляя, принимать его в другую даже комнату, как он принимал знаменитого тогдашнего идиллиста Владимира Ивановича Панаева, карьера которого начинала очень ясно обозначаться, и еще переводчика байроновской «Паризины» (с французского, впрочем, языка) Василия Евграфовича Вердеревского, начинавшего тогда уже очень богатеть благодаря должности правителя канцелярии комиссариатского департамента военного министерства. Это тот самый Вердеревский, которому, 35 лет спустя, после того как я его видал на воейковских пятницах и на греческих четвергах в качестве quasi-литератора, суждено было в Нижнем Новгороде на эшафоте подвергнуться по суду лишению прав состояния и ссылке в Сибирь. Достоинно внимания, что тот же самый Карлгоф, выше и превосходнее которого Воейков, казалось, никого не знал, в 1837—1838 годах сделался предметом ненависти того же Воейкова вследствие каких-то отношений, кажется, вследствие каких-то денежных счетов, в которых Воейков оказался неисправным к Карлгофу. Как бы то ни было, но в 1838 году «Дом сумасшедших» дополнился стихами:

Вот кадетом заклеянный
Меценат, Карлгоф поэт,
В общем мненьи зачерненный*
И Булгарина клевет!**

* [Вероятно, после размолвки с Воейковым.]

** [Совершенная ложь.]

Худ, мизерен, стиснут с вида,
Сухощав душой своей,
.....
.....

Последние два стиха решительно не для печати и отвратительно грязны. Подобные выходки бросают густую тень на память Воейкова.

Внимание Воейкова привлек к себе показавшийся на пороге статный белокурый офицер в гвардейском адъютантском сюртуке. То был капитан Лукьянович, адъютант знаменитого русского Баярда, генерала Карла Ивановича Бистрома, автор «Истории турецкой войны 1828—1829 годов», принимавший более или менее деятельное участие своими дельными статьями в журналах и альманахах того времени. Воейков был с ним очень учтив и внимателен, расхваливая с обычным своим пафосом его книгу и вообще все то, что в то время принадлежало перу г. Лукьяновича. Но среди всех этих любезностей Воейков заметил-таки в этот раз своему почтенному гостю:

— А грех вам, Николай Андреевич, вы меня чарочкой обнесли, отдав Бестужеву ваши несколько строк с хохлацким юмором о холере. Это премило!

И при этом Александр Федорович достал новый номер «Северного Меркурия» и, передав его автору статьи, просил прочесть для всех. Автор прочел следующее:

— Що це за холера така? Чи ты ей бачив? — спросил один хохол своего земляка, недавно возвратившегося с Дона из заработков. — Чув, — отвечал тот. — Яка ж вона? — спросил снова первый. — Кажут: жинка в червоних чоботах, ходе по води да все оха!

— Необыкновенно просто, верно и мило! — воскликнул Воейков.

— Схвачено с природы, — раздался чей-то голос.

— Читая эти строчки, я словно переношусь в мою милую Полтавщину, — заметил преимущественно молчаливый и сосредоточенный поэт-юноша Подолинский, который в эту пору издал уже две свои поэмы, «Борский» и «Нищий», независимо от бесчисленного множества мелких стихотворений, наполнявших собою журналы и альманахи.

Так как журналец Бестужева был уже на сцене, то Воейков нашел нужным сказать Вильгельму Ивановичу Карлгофу:

— Вы также, Вильгельм Иванович, даете статьи ваши в изрядном количестве Бестужеву, а между тем смотрите-ка, как этот неблагодарный пасквилянт позволяет себе относиться к вашей новой прелестной повести «София».

— Я читал отчет Бестужева о «Невском Альманахе», — сказал Карлгоф, пуская клубы дыма из своей стамбулки, — и, признаюсь, не заметил там ничего для себя обидного.

— Помилуйте, — вопил Воейков, — как же это не обидно? Читайте: «На странице 109-й сказано: «Граф Линин в 26 лет отроду смотрел на жизнь, как на давно известную и *следственно* скучную книгу». Например, Гомерова «Илиада» давным-давно известная книга, но следует ли из сего, что она скучна?»

— Это, действительно, обмолвка у меня, и я вполне ее сознаю, — объяснял Карлгоф, — почему и не считаю себя вправе претендовать на рецензента, исполнившего этим замечанием свою обязанность.

— Еще вот на какие штучки пускается этот Бестужев — снова привязывается Воейков. — Вон он напечатал какое-то письмо к себе от себя же, то есть от Марфы Власьевны Томской, служащей ему псевдонимом. В письме этом различные напоминания издателю этого

листка за его неисправный выход и убеждение поправиться как-нибудь. Вот ответ в стихах:

Все свято исполнить я вам обещаю
И ваших статей ожидаю.

— Куда как это тонко и остроумно!

Замечательно, что все выстрелы Воейкова против «Северного Меркурия» оставались в гостинной без ответа и никем почти не развивались. На это была та простая причина, что все личности, наполнявшие гостиную Воейкова, помещали статьи свои в «Северном Меркурии» и в «Гирлянде» и ежели не посещали М.А. Бестужева-Рюмина по причине его уже чересчур циничного образа жизни и вообще быта, то посещали, напротив, очень часто его хорошего приятеля и настоящего издателя «Гирлянды» Николая Александровича Татищева, который в тех же местах жил, то есть где-то около Знаменской, и жил очень комфортабельно, как человек богатый, светский, приличный, хотя постоянно страдавший физически. Он говаривал, что любит Бестужева за его доброе и незлобивое сердце, но весьма не одобряет в нем его беспорядочности и унизительной страсти к горячим напиткам. У Н.А. Татищева сходок и сборищ, вроде воейковских, не бывало; но затем каждый вечер, когда хозяин изящной и обширной квартиры бывал дома, — а он почти никуда и никогда по хилости не выезжал, — то в его поместительном кабинете всегда можно было встретить двух-трех из тогдашних сотрудников журналов и вкладчиков альманахов. Перед окончанием вечера общество переходило в столовую, отделанную в готическом вкусе, и тут подавался такой ужин, который по изяществу и дороговизне никак не мог идти в сравнение со скромными и всегда почти плохо сервированными ужинами

Воейкова. Довольно понятно, что весьма немногие, не посещавшие г. Татищева и не знакомые с ним, каковы были из числа гостей Воейкова: Борис Михайлович Федоров, г. Олин, товарищ его Вас. Прох. Никонов и, наконец, некто г. Пасынков, — персонаж довольно плотной корпуленции, с своеобразною отрывистою дикцией и какою-то задыхающеюся интонацией*, — относились далеко не любезно к «Северному Меркурию» и к «Гирлянде», а в особенности к их издателю. Г. Олин, маленький, сублильненький человечек, довольно щепетильный и говорящий с некоторым увлечением, в то время издавал газетку «Колокольчик», о котором в «Северном Меркурии» было сказано:

Хотя разбит, хотя не звучен,
Но, ах! как он несносно скучен,
Когда велением судьбин
Своим однообразным звоном
Он за безжалостным Хароном
Ослов мычащих стадо мчит
И для ушей их дребезжит.

Г. Олин был переводчик Байронова «Корсара» и сочинитель и издатель великого множества различных книжек, книг и книжонок. Деньгами для издания «Ко-

* [Я никогда не знал близко этого господина; но лет за 35—40 перед сим памятна была ходившая по рукам и едва ли не напечатанная в «Меркурии» дерзкая эпиграмма Бестужева-Рюмина, основанная на каламбурном смысле фамилии, носимой господином Пасынковым, а именно:

Он чести пасынок, а пошлости сынок.

Чтобы громко объявлять такие вещи, надо быть уверенным в их безошибочности, но г. Бестужев-Рюмин оправдывался тем, что «пьяному море по колено». Сколько известно, г. Пасынков отвечал только в воейковских журналах, называя Бестужева «Пьянюшкным», а журнал его «Меркурий» — «вором».]

локольчика» ему помогал повсюду его сопровождавший молодой купеческий сын Никонов, бледный, бело-брысый, как маймист, и отличавшийся необыкновенною неловкостью. Впрочем, человек добрый и честный, насколько он действовал самостоятельно, но, к сожалению, самостоятельности-то он, бедняга, никакой не имел. Хотя он находился под опекой, но денег у него было немало, и он ими порядочно сорил. Он напечатал свою нелепейшую повесть «Новая бедная Лиза», за напечатание которой в своем журнальце с него взял Бестужев-Рюмин, пользуясь его непроницательностью, 500 р. ассигн. В это время успели уверить Никонова, что несравненно лучше самому издавать газету, чем платить другому журналисту за печатание у него своих повестей. Никонов уразумел прелесть издательства и охотно сделался издателем «Колокольчика», редакцией которого занимался г. Олин, беспре-станно печатавший там чепуху, сочиняемую несчастным издателем. Можно себе вообразить, как шла эта газета и что такое был этот «Колокольчик».

Большая часть воейковского общества, состоя из участников двух противоборствующих лагерей, не могла громить Бестужева даже в угоду Воейкову, и Воейков, понимая это, только старался, как мы уже видели, возбуждать отдельные личности против своего врага.

С некоторыми из гостей Воейкова мы уже знакомы, других же вы вовсе не знаете, почему теперь же сообщу вам о них все, что знаю и что помню.

Аладьин (Егор Васильевич), издатель в течение многих лет «Невского Альманаха» и потом «Петербургского Вестника» — журнала, не имевшего успеха. Наружность его была весьма непрезентабельная: коротенький, толстоватенький человек, с бурым, одутловатым лицом, с сваливающимися на глаза русыми во-

лосами. Речь не изящная, отрывистая, не ясная, выражения далеко не отборные. Он мастер был ежегодно выпрашивать у литераторов прозаические и поэтические статьи для своего «Невского Альманаха» и искусен в том, чтобы выгоднее издать книжку «Альманаха» и потом еще выгоднее продать ее отчасти публике, а главное — разным милостивцам. Он был родом курчанин и в Курске при каком-то тамошнем губернаторе начал свое служебное поприще. С 1824 года он появился в Петербурге и, увлеченный блестящим тогдашним успехом альманахов — «Полярная Звезда», Бестужева и Рылеева и «Северные Цветы» барона Дельвига и Сомова, он предпринял свой «Невский Альманах», долгое время доставлявший ему средства к более или менее сносной жизни. В ту пору, когда Аладьин сначала был покровительствуем, а потом почему-то преследуем Воейковым, ему удалось произвести еще другую довольно крупную спекуляцию, а именно, приобретя расположение бывшего тогда смоленским губернатором известного нашего драматического писателя Хмельницкого, он получил от последнего безвозмездное право издания в свою собственность всех, сколько их было, его театральных довольно милых пьес, из числа которых знаменитая комедия в стихах «Воздушные замки» и доньше считается недурною театральною пьеской. Аладьин объявил об издании такого собрания под названием «Театр Николая Хмельницкого». Изданию назначена была цена 20, а с пересылкой 22 руб. ассигн. Подписку Аладьин открыл бойкую и ловкую, пустив ее не только через книжную торговлю, но в домах своих милостивцев — сановников и купцов, а также при посредстве протекции во всех почтовых конторах. Объявление о подписке было состряпано довольно метко и, между прочим, снабжено следующими стишками Хмельницкого:

Чины вернее Ипокрены
Нас в Академию введут,
И кто в чинах, тот мигом в члены,
А стихотворцы вечно ждут.
Зато, поразобравши строго
Академический причет, —
Превосходительных в нем много,
А в превосходных недочет.

Подписка кипела, и несколько тысяч подписчиков прислали Егору Васильевичу Аладьину свою крупную лепту. Но Аладьин, собрав деньги, книги не издавал. Жалобы сыпались. Носился слух, что при этом г. Аладьин изволил очень мило шутить с теми, которые его на его квартире (угол Невского и Литейной, дом Давыдова) отыскивали и атаковывали. Он через прислугу свою не сказывался дома; но иногда случалось, что прислуги не было в наличности, и тогда владельцеде сам принимал претендателей и, разыгрывая роль лакея, объявлял, что, — так по крайней мере рассказывали, — барин уехал в Царское или в Гатчину, или что барин лежит болен, а раз даже будто бы уверял сам одного настойчивого господина, что издатель «Театра Хмельницкого» умер и вчера на Смоленском кладбище погребен. Однако, наконец, сам Николай Иванович Хмельницкий не на шутку стал приступать к Аладьину о необходимости удовлетворить публику изданием обещанного собрания его пьес. Чем же кончилось? Кончилось тем, что за все поплатился добродушный Николай Иванович Хмельницкий, принявший на себя издержки издания, поручив, однако, уже эту операцию другому лицу, от которого мы и узнали все эти курьезные подробности. Сам Аладьин, сколько мне известно, ничего не писал. Впрочем, извините, в первой на 1825 год книжке «Невского Альманаха» была напечатана написанная вяло, канцелярским языком его повесть,

извлеченная из материала, имевшего великолепный сюжет. Это было следственное дело по поводу преступления, совершенного в 1823 году курским дворянином Ширковым, убившим молодую девушку, не отвечающую на его страсть, тем более предосудительную, что он был довольно стар, девушка же эта была подруга его взрослой дочери-невесты. Аладьин не сумел искусно воспользоваться хорошим материалом и, как дурной ваятель, из куска каррарского мрамора произвел вместо изящной статуи уродливого истукана.

Резкую противоположность с Аладьиным представлял в гостинной Воейкова и на многочисленных вечерах Греча скромный, кроткий, тихий, приветливый, крайне деликатный во всех своих поступках Константин Петрович Масальский, автор весьма многих русских исторических романов и стихотворной повести «Терпи, казак, атаманом будешь». Эту повестушку, с претензиями на что-то особенно теплое и сердечное, нынче едва ли кто из настоящего поколения знает; но в начале тридцатых годов она имела такой успех, что, напечатанная в количестве 1200 экземпляров, разошлась в две недели и потом в течение одного года выдержала два издания в несравненно большем числе экземпляров, так что ее разошлось в России не менее 10000 экземпляров в течение одного года. Константин Петрович Масальский воспитывался в благородном университетском пансионе, а служил постоянно в государственной канцелярии. Он имел тип очень приличного министерского чиновника, с формами необыкновенно мягкими, кроткими, учтивыми, но без вкрадчивости и заискивания, которых был чужд. Он знал несколько иностранных языков и, между прочим, в совершенстве испанский язык, с какого и перевел мастерски творение бессмертного Сервантеса «Дон Кихот». Масальский отличался движениями чрезвычайно

систематическими и скорее медленными, чем проворными. Он был невелик ростом, приятной наружности, с тонким продолговатым носом à la Henri IV и с густыми каштановыми котлетообразными бакенбардами прежней формы, то есть покрывавшими полосой щеки от висков к губам. Говорил он весьма негромко, никогда не спорил и на литературных сходках, где сплетня царила, он углублялся с трубкой в уголок, где вполголоса беседовал с кем-нибудь из тех посетителей сходки, с которым беседа могла быть для него приятной. Полевой сильно нападал на все то, что выходило из-под пера Масальского; но Масальский уклонялся от личной полемики, предоставляя защиту свою журналистам, которых, однако, снабжал иногда материалами, необходимыми для антикритики. Им создано слово «бранелогия», принятое «Северною Пчелой» для определения страсти к полемике между журналами.

Владимир Андреевич Владиславлев, уланский офицер, перешедший потом старшим адъютантом в корпус жандармов и пользовавшийся особым расположением Воейкова, человек довольно богатый по жене, урожденной Калагеорги. У него были назначенные дни, вечера, ужины и обеды. Он писал в прозе повестушки и военные воспоминания, довольно вялые. Владиславлев замечателен изданием в течение многих лет изящного альманаха «Утренняя Заря», виньетки и картинки которого исполнялись в Лондоне и были истинно хороши. Между этими картинками замечательны были в особенности портреты петербургских и московских красавиц из высшего общества. Приложение это значительно возвышало цену издания г. Владиславлева, которое, впрочем, расходилось тысячами экземпляров искусственным образом, главным образом благодаря письмам графа Бенкендорфа, просившего всех губернаторов и городских голов распространять это

издание, так как половина сбора назначалась в пользу благотворительных целей. Масса требований на «Утреннюю Зарю», продававшуюся по 10 р. экземпляр, была громадна. Благодаря «Утренней Заре» Владиславлев с каждым годом все улучшал и улучшал свое положение да и прослыл литератором, находясь постоянно в обществе Воейкова, славившего его во всю ивановскую, а потом пользуясь приятною Кукольника и всей братии этого общества.

Владимир Григорьевич Бенедиктов. О его поэтических достоинствах нечего распространяться, потому что они, поднятые высоко партией в свое время, были строго оценены критикой Полевого, на которого за эту и за многие его другие правды поднималась ужаснейшая оппозиционная буря, кончившаяся, однако, мыльными пузырями, как и вся шутовская и высокопарная поэзия. Ежели о поэте, как личности, судить по его произведениям, то можно бы было представить себе Бенедиктова величественным, красивым и горделивым мужем, с открытым большим челом, с густыми кудрями темных волос, грациозно закинутых назад, с головой, смело поднятою, с глазами, устремленными глубоко вдаль, с движениями смелыми и повелительными, с поступью плавною, с речью звучною, серебристою, музыкальною. Действительность же представляет человека плохо сложенного, с длинным туловищем и короткими ногами, роста ниже среднего. Прибавьте к этому голову с белокуро-рыжеватыми, примазанными волосами и зачесанными на висках крупными заколочками; лицо рябоватое, бледно-геморроидального цвета, с красноватыми пятнами, и беловато-светло-серые глаза, окруженные пloidкой морщинок. Не знаю, как впоследствии являлся почтенный Владимир Григорьевич, но в тридцатых и последующих, еще до пятидесятого года, я иначе нигде, где только его видал, не

встречал, как в форменном фраке министерства финансов, с орденом или даже с орденами на шее и в левой петлице, при широком и неуклюжем черном атласном галстуке, весь склад и тип, от движения до голоса, министерского чиновника времен былых. Во всей внешности г. Бенедиктова никогда не было нисколько не только поэтичности, но даже малейшего оттенка, свойственного человеку, которому сколько-нибудь присуще вдохновение. Г. Бенедиктов принадлежал к кукольниковскому братству и постоянно посещал Нестора Васильевича, который в своем интимном кружке носил название или кличку «Епископа», Бог знает почему. В этом обществе впоследствии стал являться Полевой, сдружившийся с Кукольниковом из крайности и нужды, когда он принужден был горькими обстоятельствами оставить Москву. Здесь у Кукольника Полевой встречал Бенедиктова и, казалось, таял от восторга, слушая громогласные стихотворения форменного поэта.

Трилунный — был псевдоним некоего г. Струйского, писавшего в журналах и альманахах очень много прозой и стихами, иногда довольно мило. Он издавал и отдельные сочинения под своим постоянным псевдонимом. «Северная Пчела», снисходительная к самым дрянным посредственностям, проявляла строгость к Трилунному, в котором она, Бог знает почему, отвергала не только поэтическое дарование, но даже и всякую литературную способность, что было несправедливо. Г. Струйский был человек довольно достаточный, принадлежал к хорошему обществу, имел приличные формы; но со всем тем напускал ли он на себя или нет, а только он отличался какими-то странными манерами, благодаря которым его легко можно было принять за сумасшедшего или, по крайней мере, за испуганного, за меланхолика, вообще за человека вне

нормы. Движения его были часто излишне порывисты, он являл примеры странной рассеянности в туалете своем, щеголеватом, но небрежном, причем иногда не по сезону он носил шинель с меховым воротником в ту пору, когда все драпировались легкими плащами по причине июльской жары. Он был некрасив, бледно-желто-коричневого цвета имел лицо, глаза закрывались нависшими широчайшими бровями, волосы щетинились, очки никогда не снимались с его мутных глаз. Вообще, он казался молодым стариком.

Леопольд Иванович Брандт, носивший всегда светло-синий фрак с белыми пуговицами ведомства путей сообщения, всегда с золотой табакеркой и фуляровым платком в левой руке. Речь наставительная и самовосхвалительная, движения медленные и плавные, усмешка, старающаяся быть остроумною и глубокомысленною. Слыл литератором, потому что печатал в журналах различные статейки довольно отрицательных качеств и издал какой-то роман. Он являлся постоянно, словно на службу, к Гречу по четвергам, к Воейкову по пятницам и к Кукольнику по субботам.

Василий Николаевич Щастный, родом литвин, служил в государственной канцелярии, писал довольно много изрядных стихов в альманахах; но услуга его в литературе русской состоит в том, что он перевел на русский язык очень успешно поэму знаменитого польского поэта Мицкевича «Фарис», которую в его переводе, истинно изящном, можно не без удовольствия прочесть и нынче даже в наш непоэтический век. Г. Щастный был довольно приятный и спокойный молодой человек, тогда лет двадцати пяти с небольшим.

Михаил Алексеевич Яковлев. Это был строгий и страшный для театрального мира критик-рецензент «Северной Пчелы». Он писал очень ловко и верно, хотя, служа в министерстве иностранных дел, иногда

должен был смягчать правоту своих приговоров артистам и в особенности артисткам, имевшим своих покровителей между аристократами. Яковлев получил образование в Петропавловской немецкой школе и был сыном русского купца, торговавшего под Думой серебряными изделиями, почему некоторые журнальные наездники, находившие возможными все средства для своих отпариваний, позволяли себе пошлые шуточки, насчет происхождения автора статей с подписью М.А. Яковлева выводили на сцену неоднократно. Я помню какой-то водевиль, где он являлся под именем Мишутки Яшуткина и был вылитый оригинал. Не помню только, кто его представлял тогда, кажется Марковецкий или Рязанцев. Та же корпуленция, более чем плотная, то же огненно-кирпиче-красное лицо, с очками в черепаховой оправе, тот же черный сюртук, черный жилет по горло и с беленькими форменными пуговичками и то же отсутствие всякого наружного признака белья, чем отличался костюм почтенного Михаила Алексеевича. Он был давнишним сотрудником «Северной Пчелы», платившей ему только креслами в театрах за его статьи. Воейков окружал его учтивым вниманием и был с ним на самой лучшей ноге, что не мешало Воейкову при нем ругать Булгарина, а Яковлеву хохотать при этих выходках, точно доходивших до смешного.

Лука Михайлович Якубович, веселый разбитной малый, круглолицый, румяный, кудрявый, отставной какой-то офицер, печатавший немало статей в стихах и в прозе, из которых некоторые были недурны. Это был нечто вроде взрослого *enfant terrible*, наивный, беззаботный, всегда имевший в запасе своей памяти разного рода новости журнального дела. Он, кажется, посвящал большую часть своего дня на собиранье известий по книжным лавкам, кондитерским, трактирам

и типографиям, почему новости эти нередко переходили в оттенок сплетни, а сплетня, как я уже сказал прежде, царила в воейковской гостиной, где надо было соблюдать изрядную осторожность, чтобы не сделаться ее жертвой или игралищем.

В. Бурнашев*

* Воспоминания В.П. Бурнашева о Грече и Булгарине встретили в печати немало возражений (перечень их см. в «Обзоре записок, дневников»... сост. С. Минцловым, вып. 2 и 3. Новгород. 1912, с. 97), вызвали со стороны М. Пыляева след. четверостишие:

Не удивляюсь Бурнашеву,
Что подсунул ложь Каткову,
Но удивляюсь я Каткову,
Как поверил Бурнашеву.

Но мы выключили те места его мемуаров, где допущено явное неправдоподобие (о Пушкине у Булгарина и проч.). О самом мемуаристе есть любопытный этюд *Н. Лескова* «Первенец богемы в России» в «Историческом Вестнике», 1888, т. XXXII (тут автобиография В.П. Бурнашева). «Воспоминания» В. Бурнашева вышли в М. в 1873 году.